



Валерий Попов

*Третий гений в семье*

**Валерий Попов.** Русский писатель, сценарист, кинематографист. Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза кинематографистов. Автор сорока книг. Публиковался в изданиях: «Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и др. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры (2013), Правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства (2014), Гоголевской премии за книгу «Зощенко» (2015) и др. Награжден орденом «Дружбы» (2009), знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2014), медалью Пушкина (2016). Живет в Санкт-Петербурге.

Льва Гумилева я увидел впервые в 1991 году, на его выступлении в огромном белом зале Дома Писателей, где когда-то топтали Зощенко и Ахматову, а теперь торжествовал он: зал был переполнен, люди стояли в проходах.

То было самое «духоподъемное время» в истории моего поколения: из-под спуда, из-под гнета поднималось то, что от нас долго скрывалось. Как раз в это время разрешили многое, и народ ликовал, были переполнены залы, выступали кумиры — прежде запрещенные или просто незамеченные.

Помню смелого социолога с характерной фамилией Ядов, который дерзко сообщал залу, заполненному творческой публикой, что общество нуждается лишь в одном проценте творческих личностей, а при большем их количестве общество разрушается — и зал бурно аплодировал, узнав, наконец, правду, пусть и горькую. Помню сексолога-реформатора по фамилии Святощ, который вдруг сообщил нам с трибуны, при огромном стечении публики, что самоудовлетворение не только не вредно, но даже полезно, — и, как я написал в одной своей книге, «многие тут же сорвались с мест и с радостными криками выбежали из зала». Но, конечно же, Лев Гумилев, создавший в тяжелейших условиях, в сталинских лагерях свое учение, стоял выше всех.

Ольга Василевская



Мой друг Никита Дубрович попросил меня провести его вместе с мамой на выступление Гумилева, смущенно сообщив, что после возвращения Гумилева со второй каторги у мамы был с ним серьезный роман. Гумилев появился на высокой сцене, слегка обрюзгий, но от этого еще более величественный. Увидев в первом ряду Веру Владимировну, маму Никиты, он легко спрыгнул с высокой сцены, бросился к ней и расцеловал ей руки. Потом так же легко поднялся на сцену.

Это был — триумф! Зал ловил каждое слово, почти каждая фраза сопровождалась аплодисментами. Вот, оказывается, как просто, ярко — вспышкой! — возникали великие цивилизации — Вавилон, Египет, империя Чингисхана — и, может быть, появятся новые, еще более яркие — есть надежда! Это ведь главное для нас...

Закончив выступление, Гумилев раскланялся, — но тут кто-то не удержался и бестактно спросил:

— А не могли бы все же рассказать о ваших родителях?

Гумилев буквально оцепенел от такой наглости. И, придя в себя, произнес:

— Я бы попросил задавать вопросы, относящиеся к моей лекции. Мои родители не имеют к ее теме ни малейшего отношения!

Я мало тогда знал о его жизни, но тут сразу заинтересовался.

И вот я стою в Музее Ахматовой в Фонтанном доме, в отростке коридора, где на жестком сундуке спал приехавший в Ленинград к маме семнадцатилетний Лев Гумилев.

В тихом Бежецке, где он почти с рождения жил с бабушкой Анной Ивановной, больше оставаться было нельзя. Он уже прочел все исторические книги, которые были в Бежецке, и мечтал стать историком, внести свой вклад в науку. Прочел Жюль Верна, Майна Рида, Фенимора Купера: в общем, то, что и должен читать мальчик в его возрасте — но в новой советской школе его знания показались чрезмерными, и даже подозрительными, особенно в сочетании с хорошими манерами, привитыми бабушкой-дворянкой. В результате его обвинили в «академическом кулачестве»...

Это уже был, как говорится, «звоночек»! Нет ничего бесприютней юности! Никто не знает, чего ты стоишь, да ты и сам этого не знаешь. Только отец верил в него.

Николай Гумилев, знаменитый поэт, бесстрашный путешественник, «король» петроградской богемы, не забывал Льва, приезжал к нему Бежецк и, словно чувствуя свою скорую гибель, старался как можно больше рассказать сыну, больше передать ему. Он не просто пересказывал ему мировую историю, но и рисовал картинки, и по ним сочинял стихи.

Вот — «Геракл убивает немейского Льва». И рядом с картинкой — стихи Гумилева-отца:

От ужаса вода иссякла  
В расщелинах Лазурских скал —  
Когда под палицей Геракла  
Окровавленный лев упал.

В последний свой приезд, в 1921 году, он подарил сыну книгу по истории Рима, и бабушка удивилась: «Николай, зачем ты даешь ему такие трудные книги»? И отец, посмотрев на сына, произнес: «Он поймет!»

В семнадцать лет (отец его уже был расстрелян) Лев Гумилев приезжает в Ленинград к своей маме, Анне Ахматовой, и поселяется у нее в Фонтанном доме, выходящем фасадом на Фонтанку. Здесь она жила уже с третьим мужем, профессором Пуниным, который встретил пасынка весьма холодно и поселил в коридоре.

Теперь в этом отростке коридора в Фонтанном Доме застывают почти исключительно экскурсанты: здесь началась карьера великого человека!

Но поначалу юного Льва не приняли даже на курсы немецкого. Дворянское происхождение! Он и не думал его скрывать, и даже картавил, как истинный «светский лев» — притом, что его родители, Ахматова и Гумилев, олицетворяющие в нашем сознании «дворянскую честь», фактически дворянами не были. Их родители были дворянами, но дворянство было присвоено им «пожизненно» за особые заслуги перед государством — и не наследовалось их детьми. Но и Ахматова, и Гумилев были «аристократами духа», и это в значительной степени унаследовал их сын. Он бы мог доказывать, что он не дворянин, и даже родители его — не дворяне, и это, может быть, облегчило бы его участь... но кем бы он себя тогда считал?!

Но надо было как-то входить в новую реальность, об этом и бабушка постоянно писала. И он, не вступая в унижительные дебаты по поводу своего происхождения, просто идет чернорабочим на завод им. Свердлова. Потом работает в трамвайном депо, и ночует, где получится, чтобы, не дай бог, не нанести грязи в профессорское жильё.

Однажды, когда он все же зашел навестить маму, Пунин воскликнул: «Не могу же я кормить весь Ленинград!» — и Лев ушел.

Биржа труда направляет его на курсы геологических коллекторов, и его посылают в экспедиции, где уже совершенно не думают о его происхождении и амбициях, и заставляют выполнять работу не для белоручек: в Забайкалье ему поручают препарировать червей, а в Таджикистане — опрыскивать ядом лужи, препятствуя размножению комаров. Но — наблюдая пустыни с забытыми городами, горные хребты,

разделяющие цивилизации, он именно здесь впервые по-настоящему осознает свое призвание. В кишлаке, где базируется отряд, он, еще по-юношески стеснительный, вдруг вскоре начинает абсолютно естественно, как с близкими, общаться с местными декханами на их языке, образовавшемся из великого персидского, на котором писал боже-ственный Фирдуоси.

И дальше уже все, что случалось с ним, способствовало (или препятствовало) его великой цели: изучению загадок цивилизаций. Под этим углом он теперь и рассматривал все события своей бурной жизни.

В университет его приняли только в 1934 году, в двадцать два года, когда многие его уже заканчивают, но зато — на исторический факультет, который как раз только открылся после долгого перерыва, словно именно для него. И туда он пришел уже человеком крепким, а главное — уже знающим, чего он хочет. Видимо, его приняли, посчитав «перековавшимся», — но он, скорее, «сковал себя», чем перековался. Он вовсе не отказался от прежних убеждений, и так же открыто заявлял, что Россию спасет только аристократия, и добавлял (наверное, уже только для «избранных»), что «есть еще аристократы, интересующиеся бомбами».

В 1933 году, еще до университета, он уже был один раз арестован — правда, через девять дней выпущен без каких-либо объяснений. Второй раз он был взят в 1935 году, уже в университете. Шли грандиозные «чистки» после убийства Кирова. Но, по мнению историков, арест Гумилева в 1935 году был лишь звеном той цепи, которую ковали для Ахматовой, поэтому арестован был и ее муж Пунин. Именно тогда Лев осознал «закон подмены». Великую Ахматову, о которой все говорят, сразу арестовать нельзя — лучше пока взять «пешку» и припугнуть «королеву». Каково было самолюбивому юноше это осознать! Хотя тогда, в 1935-м, как раз Ахматова, с ее характером, всех и спасла.

Она рванула в Москву, встретилась с Пастернаком и уговорила его написать письмо в защиту арестованных. Затем (ее слава, ее связи это уже позволяли) встретилась с писательницей Лидией Сейфулиной, бывшей тогда у властей в фаворе — и благодаря этому письмо Ахматовой оказалось на столе у личного помощника Сталина Поскребышева, и вождь вскоре его прочел.

Письмо это поражает чувством достоинства, уверенностью в своей правоте, полным отсутствием какого-либо заискивания. «Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне сына и мужа, уверенная, что об этом никогда не пожалеете»...

Может быть, именно эта гордость и пришлась «гордому горцу» по душе? Но, верней всего, этот «ход» был за чем-то нужен ему в той сложнейшей «шахматной партии», которая тогда еще не кончилась полной его

победой. Он написал Ягоде, главному чекисту: «Освободить из-под ареста Н. Пунина и Л. Гумилева, и сообщить об исполнении».

Н. Пунина и Л. Гумилева выпустили. Правда, Гумилева из университета все же вышибли, по требованию комсомольской организации. Он голодал, потом уехал в экспедицию. В 1936 году его восстановили в университете по личному распоряжению ректора Лазуркина, сказавшего: «Не дам калечить мальчику жизнь!» Были еще порядочные люди — сломали не всех.

Гумилев продолжал образование. На историческом были великолепные специалисты, например, академик Конрад, которого Гумилев почитал всю жизнь. Но жизнь катилась не туда: советские установки требовали смести все прежнее «до основания» — но что же тогда преподавать? Преподаватели выкручивались, как могли — и бесстрашный Лев не боялся «поправлять» их.

«Сын не отвечает за отца!» — эта фраза, «позволившая» многим отречься от родителей, или хотя бы попытаться, к Гумилеву не относилась. Поэтому, когда профессор Пумпянский, читая в университете лекцию о современной поэзии, непочтительно выказался о Гумилеве-старшем, сын, как и положено, вступился за отца. В ответ на пренебрежительную реплику Пумпянского: «Поэт писал об Абиссинии — а сам не был дальше Алжира. Вот он — пример отечественного Тартарена!», — Гумилев-младший поднялся: «Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!»

«Кому лучше знать — вам или мне?» — усмехнулся Пумпянский. — «Конечно, мне!» — отвечал гордый Лев.

Теперь уже все, даже те, кто раньше не знал, знали, что он сын Николая Гумилева, поэта-контрреволюционера, расстрелянного еще в 1921 году — и о своем родстве студент Гумилев заявил открыто и даже с вызовом.

Его арестовали в ночь с 16 на 17 марта 1938 года.

Главной темой допросов снова была Ахматова! Николай Гумилев, за которого вступился сын, давно был ими расстрелян и их не интересовал — так же, как и сын. Каково это было пережить это самолюбивому Льву — он опять только «пешка в большой игре!» К тому же в этот раз применялись побои и пытки. Здоровье Гумилева было подорвано именно тогда. «Припугнули королеву» — а его посадили на десять лет!

И то, что приговор вскоре скостили до пяти лет, он в своих воспоминаниях объясняет причинами исключительно внешними: сбросили наркома Ежова, главного палача, и вскоре расстреляли. Расстреляли и прокурора, который настойчиво требовал заменить десять лет на расстрел. В результате — расстреляли прокурора, а Гумилеву — оставили, на всякий случай, «пятерку» — пять лет! Ахматовой удалось добиться свидания и передать сыну теплые вещи.

Как истинный Гумилев, он, оказавшись в лагере под Норильском, на крайнем Севере, переносит страдания героически. Слез не дождетесь!

«Штольня казалась нам блаженным приютом. Ибо в ней была постоянная температура «-4», по сравнению с сорокоградусными морозами снаружи. В штольне рабочий день проходил безболезненно». Далее, перечисляя выдаваемые продукты питания, назвал условия пребывания «приемлемыми». В лагерной анкете он сообщил, что работал в экспедициях, и через некоторое время его сделали геотехником и перевели в барак геологов. Там была уже интеллигентная публика, знавшая Ахматову и Гумилева, и новосела встретили со всем уважением. Впрочем, ни на какие привилегии Гумилев бы не согласился, и работал со всеми наравне. Там же, по свидетельству некоторых очевидцев, он уже начал работать над диссертацией, поскольку теперь имелся доступ к научным книгам. При этом — он не закончил еще университет — но такого человека, как Гумилев, это не останавливало. Тем более, что многое из того, чему учили его, он считал банальным и устаревшим. Главное — не чужие идеи, а свои!

Так складывалась личность Льва Николаевича, резко отличавшегося от традиционного облика кабинетного ученого, притягательная, среди прочего, и лихим каторжным опытом. Однажды они с другом даже «вырубали» уголовника с топором. Заключение, хорошо работавшим, давали отпуск в Туруханск. На нас это название наводит ужас. Но, по воспоминаниям Гумилева, это было развеселое место, где преобладали поселенки-женщины, — и он, «вступив во временный брак», чудесно провел там время. Настоящий «бретер», не уступающий папе.

И с каторги он ушел не в больницу, и не в какую-нибудь тихую заводь, а на войну. В 1943 году он был «расконвоирован», работал на комбинате, открыл магнитометрическим методом крупное месторождение железа, — и попросил в награду за это... направить его на фронт. И в 1944 году военкомат того же самого Туруханска направил его на фронт, где он стал умелым артиллеристом, и получил награды — в их числе «За взятие Берлина». Он писал, что на войне ему больше понравилось, чем на гражданке. «И умру я не на постели, при нотариусе и враче», как написал его отец, который, наверное, им бы гордился.

И в Ленинград он вернулся уже не каторжником, а воином-победителем. Мама его встретила очень тепло. По окончании войны многие были охвачены эйфорией: ну уж теперь-то, когда мы одолели такое, легко справимся и с остальным! Ахматова была на подъеме — во время войны ее снова начали печатать, она написала великие патриотические стихи, и стала еще популярнее — теперь ее знали все: ее стихи за время войны обрели гражданственность, масштаб.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  
Не горько остаться без крова.  
И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово!

Гумилев вспоминает: они впервые в их жизни проговорили с мамой всю ночь! Но, к концу жизни, вспоминая это, добавлял: «...Ну, конечно же, о ее стихах!»

Но, как писала Ахматова, вполне осознающая (и даже своими руками создающая) свой горький путь: «Беды скучают без нас!»

Как считал Гумилев, вскоре опять отсидевший «за маму» пятилетний срок, виновата снова была она, с ее безудержной жадой любви. С ней связался английский ученый Берлин (которого органы знали, как шпиона) — и она не только с ним встретилась, но и вступила в отношения. По мнению Гумилева, разгромная речь Жданова, назвавшего Ахматову поэмью «монахини и блудницы», и была следствием того «неосторожного романа». «Ну какая же моя мама была... дрянь!» — по свидетельству друзей, не раз восклицал Гумилев, выпив рюмку.

Ахматову перестали печатать, лишили пайка. Но еще крепче пострадал сын, который только начал «вставать на ноги» после отсидки и фронта.

Он экстерном сдал экзамены за университет, защитил диплом и поступил в аспирантуру Института Востоковедения Академии Наук (ИВАН), но в 1947 году его отчислили из аспирантуры. Причиной отчисления он считал свое публичное несогласие с «делом Ахматовой» — он постоянно об этом говорил. Хотя отчисление его произошло через год и четыре месяца после речи Жданова, и многие авторитетные коллеги утверждали, что отчислили Гумилева из аспирантуры за незнание языков и ничем не обоснованные выводы по истории Востока, никак не подкрепленные источниками, которые он не мог даже прочесть. Естественно, Гумилев с этим не соглашался, продолжал научную деятельность и работу над кандидатской диссертацией, сменив несколько учреждений, и в 1948 году блистательно защитился в Ленинградском университете.

Убедили ли Ученый Совет его доводы, или члены Совета оказались под обаянием его личности, могучего темперамента, яркого дара оратора и полемиста? Когда один из оппонентов сказал Гумилеву, что тот не знает языков, поэтому и не читал первоисточников, Гумилев заговорил с ним по-персидски. Аудитория была покорена. Ученый совет проголосовал «за», только один голос был «против».

В письме своему приятелю Гумилев самонадеянно назвал процесс защиты «избиением младенцев» (под «младенцами» подразумевались члены Ученого Совета). С ними он справился. Главной причиной своих кру-

шений он видел по-прежнему свою маму. А себя считал вполне лояльным членом общества. Уважал Маркса за его острые мысли и капитальные труды, одобрял создание Союза Советских Социалистических республик (поскольку считал необходимым Союз России с Востоком), поэтому, когда в 1949 году его снова арестовали и посадили, он написал: «До войны я сидел за папу, а после войны — за маму!» Когда на каторге ему сломали нос, и нос стал с горбинкой, как у Анны Андреевны, Лев Николаевич саркастически изрек: «Добились, наконец, сходства!»

Эта каторга далась ему гораздо тяжелее первой. Ведь посадили уже не юношу, а участника войны, известного ученого. Им на все наплевать! Сказывался уже и возраст, и результаты пыток перед первой отсидкой. Иногда отнималась левая половина тела. Как-то на лесоповале он выронил топор, который разрубил ему ногу, и она стала гнить. Спасла его лишь посылка от Ахматовой.

Наконец, Гумилеву дали инвалидность, допускавшую использование лишь на легких работах, и он много времени стал проводить в лагерной библиотеке, которая, что сегодня может показаться весьма странным, выписывала литературные и даже научные журналы. Потом разрешили получать денежные переводы, и Лев Николаевич стал заказывать научные книги. Каталоги издательств ему присылали Анна Андреевна и Эмма Герштейн, давняя и верная подруга Льва Николаевича, с которой он познакомился еще в тридцатые в гостях у Мандельштама. Кстати, Мандельштам Льва Николаевича очень ценил и считал продолжателем дела расстрелянного отца.

Но писать что-либо, кроме писем, в лагере запрещалось. Когда Гумилев обратился за разрешением писать стихи, а так же научный труд о восточном племени хунну, последовал ответ: «Про хунну — можно, стихи — нельзя!» Через некоторое время Гумилев послал из лагеря посылку Эмме Герштейн — огромную бандероль с уже прочитанными им научными книгами. Но среди них были спрятаны двадцать исписанных Гумилевым тетрадок! Основа будущей докторской диссертации. Вот так вот! И посылка благополучно дошла!

Сумев снова самоутвердиться, продолжить свое дело в самых тяжелых условиях, Лев Николаевич при этом все больше обижался на мать. Да — Ахматова выполняла не все его просьбы. Он несколько раз писал ей, умоляя найти и прислать позарез нужную ему для работы книгу «Западная Монголия и Уренхойский край» известного путешественника и исследователя Грум-Гржимайло, а Ахматова ответила, что книгу не нашла. А потом одна из верных подруг Гумилева Н. Вербанец (привычкой заводить сразу несколько любовных романов он напоминал папу) вдруг присылает ему эту книгу и сообщает, что взяла ее на складе, где их было в избытке! А вот мама — не удосужилась!

Обиды Гумилева могут нам показаться чрезмерными — но нас бы в его шкуру! К унижениям каторги прибавляется уязвленное самолюбие, зависть к материнской славе, возникшей, во многом, благодаря его страданиям, как справедливо считал он. Вспомним ее знаменитые строки:

Вот и дospelился, яростный спорщик,  
До енисейских равнин!  
Вам он — бродяга, шуан, заговорщик,  
Мне он — единственный сын!

«Лучше бы почаще посылки присылала!» — так потом прокомментировал эти строки «единственный сын». Конечно, сталинский режим портил не только тело, но и душу. «Тюрьма сгноила сына!» — написала она. Да, умела Анна Андреевна «припечатать»!

После смерти Сталина в марте 1953 года начинается освобождение невинно осужденных. Но оправдание Гумилева происходит лишь 11 мая 1955 года, потом долго еще тянутся всяческие формальности. «Мама! Почему ты не хлопочешь за меня?» — писал он.

Лишь 16 мая 1956 года — через три года после смерти Сталина — освобожденный Гумилев оказывается в Москве, едет к самым близким московским друзьям Ардовым — и там неожиданно встречается с Ахматовой. Встреча оказалась весьма холодной.

М. Ардов написал: «Лев был до такой степени ошестинившийся против матери, что нельзя было вообразить, как они будут жить».

Лев уехал в Ленинград один, хотя теперь не имел там прописки, и не мог устроиться ни на какую работу. По его мнению, мама специально не поехала с ним, чтобы не прописывать его. Поэтому он прописался сгоряча у одной из своих «бывших сотрудниц» — Крюковой. Но Крюкова Ахматовой активно не нравилась. И она добилась того, чтобы ее «беспутный сын» выписался от Крюковой и прописался у нее, в ее уже отдельную квартиру на улице Красной Конницы, у Таврического сада, где Анна Андреевна жила (причем душа в душу!) с дочерью Пунина Ириной и внучкой Анечкой.

Гумилев согласился с таким решением (хотя отметил, что «девочек» она почему-то любит больше, чем «единственного сына»). Но он не пропал: популярность его уже была велика, тут еще добавились всеобщие любовь и интерес к освободившимся из сталинских лагерей. Наиболее яркие из них «были в моде», а уж Гумилев — больше всех. Великолепный рассказчик, бесстрашный насмешник, великий дамский угодник, сын Николая Гумилева, стихи которого стали возвращаться, Лев Николаевич сделался «королем» ленинградской светской жизни, которая, что удивительно, не прекращалась никогда.

Старый его друг и наставник профессор Артамонов, бывший в то время директором Эрмитажа, сумел взять его в Отдел первобытного искусства на место сотрудницы, ушедшей в декретный отпуск, пошутив при этом: Гумилев должен теперь озаботиться тем, чтобы сотрудницы регулярно беременели и отправлялись в декрет — тогда у него постоянно будет рабочее место. И Гумилев с энтузиазмом выполнял «руководящее указание», заведя в Эрмитаже сразу несколько романов. Наиболее «шумными» были отношения с первой красавицей Эрмитажа Немиловой и восемнадцатилетней сотрудницей Казакевич — к ней он даже сватался, но благословления ее родителей, увы, не получил.

Ахматова, как строгая мама, не одобряла увлечений сына, считала, что он ведет слишком «рассеянную жизнь». Свои многочисленные увлечения она уже словно и не помнила. При этом она вмешивалась не только в его личную, но и научную жизнь. Она резко вдруг выступила против защиты им докторской диссертации, чтобы, как понимал это Гумилев, он навсегда оставался при ней пажом и ничтожеством. Главной же причиной, по мнению Гумилева, были их совместные переводы с восточных языков, которые и кормили тогда Ахматову. Львиную долю работы делал Гумилев, знающий языки, а переводы печатались только под ее фамилией, и деньги получала она. Поэтому «карьерный рост» сына ее никак не устраивал.

Гумилев записал: «Перед защитой докторской диссертации, накануне моего дня рождения в 1961 году, она выразила категорическое нежелание, чтобы я стал доктором исторических наук, и выгнала меня из дома. Я сказал ей: "Но ты только что получила двадцать пять тысяч за переводы", — после чего и был изгнан. Это был для меня очень сильный удар, от которого я заболел, и оправился с большим трудом».

Старый его друг и покровитель профессор Артамонов встретил его на улице, раскрасневшегося, растерзанного, и отчитал:

— В таком виде на защиту не приходят! Извольте привести себя в порядок!

И Гумилев уехал гулять за город со своей подругой Немиловой — и на защиту пришел в отличной форме. Докторскую диссертацию на тему «Древние тюрки. История Срединной Азии на грани древности и средневековья» он защитил блестяще.

«Дело жизни сделано!» — воскликнул он.

Но кончилась ли на этом «битва титанов», матери и сына?

Ахматова после их ссоры попала в больницу со вторым инфарктом, но жестокий сын даже не навестил ее. Они так и не помирились при жизни. При этом все отмечали, что Гумилев, прежде похожий на утонченного отца, к старости постепенно становился копией матери. «Одень на Гу-

милева платок — и будет Ахматова!» — такая шутка ходила в «светском обществе», и это, конечно, не могло не раздражать Гумилева.

В шестидесятые прогремел распространившийся в «самиздате» великий «Реквием» Ахматовой, который она писала очень долго. Сочинение страстное, страдальческое, страшное. «Муж в могиле. Сын в тюрьме. Помолитесь обо мне». В стране почти каждая семья пострадала от репрессий — и Ахматова сумела сказать о них так пронзительно! Все как-то старались передать великой Ахматовой слова признательности и любви. И только ее «единственный сын» был в ярости! Для него успех «Реквиема» был новым ударом. Сидел он, а слава — снова досталась ей. «Реквием, по-русски панихида — служится по покойнику, а я-то живой! Ей было бы лучше, если б я умер!» — так сказал он. Это сочинение ее он охарактеризовал, как «очередной акт самолюбования».

И только когда 5 марта 1966 года она умерла в подмосковном санатории Домодедово — ему уже некуда было деться от роли «единственного сына» великой Ахматовой. Он встретил в аэропорту гроб с ее телом, устроил панихиду в любимом ею Никольском соборе, распорядился на похоронах в Комарово — и по тому, сколько замечательных людей страдало и плакало, не мог не понять: страна хоронит своего великого поэта, который навсегда поселился в их душах.

Небольшое денежное наследство, полученное от Ахматовой, он полностью истратил на ее памятник — сам нарисовал старинный «северный» православный крест, видимо, призванный олицетворять «каторжную Россию», в которой жили все, даже те, кто не сидел. При установке памятника он сам таскал огромные камни, как каторжник. Может, и это тоже был «акт самолюбования»?

Об удивительной, с годами только увеличившейся похожести матери и сына говорили все. Так похожи!.. а вся слава — у нее.

Его собственная слава забрезжила лишь в 1970 году. В журнале «Природа» была напечатана первая часть его труда «Этногенез и Этносфера» — и о нем заговорили, как об ученом. Его научные (или антинаучные, как считали многие) взгляды шокировали коллег.

Так что проповедовал он?

1. Антиевропоцентризм, или — евразийство. Главный тезис: Азия — центр мировой цивилизации, а вовсе не Европа, как почему-то принято считать, и именно к Азии мы должны двигаться в своем развитии, а не к Европе. Это учение существовало уже давно — и почти всегда было в конфликте с общепринятым мнением. Но Гумилев сумел заострить тему так, что все ахнули: татаро-монгольское иго на Руси, которое все историки дружно проклинали, было на самом деле, по мнению Гумилева — не иго, а весьма плодотворное и равноправное сотрудничество! Даже люди,

далекие от науки, услышав это, были потрясены. Но этого Гумилев втайне и хотел — именно всеобщего, а не узко научного резонанса. Может быть, тогда и «мать — королева поэтов», наконец, оценит его? — надеялся он. Но этого не случилось.

2. Вторая глобальная идея: природная обусловленность исторических и социальных явлений. Отсюда выросла знаменитая гумилевская «теория пассионарности»: он объяснял бурное развитие некоторых цивилизаций «пассионарными вспышками», рождением большого количества пассионарных (страстных) особей, и выводил прямую зависимость «пассионарных вспышек» новых цивилизаций от явлений природы, в частности, от вспышек на Солнце.

Признание идей Гумилева было бы сокрушительным для современной науки, многие авторитетнейшие исторические учения и школы, создаваемые веками, затрещали бы по швам — поэтому реакция была, в основном, «активно негативной».

Некоторые ученые называли учение Гумилева «каторжной теорией» — потому что оно создано, как считали они, уязвленным на каторге самолюбием, желанием во что бы то ни стало заявить о себе, вопреки всему, в том числе — и вопреки солидным ученым с устоявшейся репутацией. Исследуя на каторге причины вспышки военной и политической активности народа хунну (гуннов), он и пришел к идее пассионарности — и всю историю человечества теперь уверенно выстраивал под эту идею. Он рисовал на карте зоны этногенеза (быстрого взлета новых этносов) и, сопоставляя их с солнечной активностью в те эпохи, переносил графики на глобус и писал: «Глядя на глобус — я вижу, как Космос сечет свой плетью планету!»

Чем не строка из Гумилева-старшего? Все, в том числе и отрицавшие научные открытия Льва Гумилева, признавали его яркий литературный дар, владение словом, называли его научные книги «увлекательными романами» — отказывая при этом ему в научной основательности.

В пику им он решает защитить — вторую докторскую диссертацию! — «Этногенез и биосфера земли», уже более четко выражающую его инновационную позицию.

Защита прошла 23 мая 1974 года в Большом зале Смольного (где не так давно Жданов «полоскал» его мать, — а сына ждал триумф). Выйдя на кафедру, он произнес: «Шпагу мне!» — и ему протянули указку. И он «поразил врагов» — лишь один голос был против!

Высшая Аттестационная Комиссия, однако, не утвердила диссертацию. Да и многие горячие поклонники нашего «пассионария», чуть поостыв, сконфуженно признавали некоторую скоропалительность его выводов, необубедительность приведенных им доказательств. Разъяренный Гуми-

лев сам поехал в ВАК, выступил там во всем блеске, и добился победы — хоть и относительной. Докторскую диссертацию так и не утвердили, но со щадящей формулировкой: «Это больше, чем докторская, а потому и не докторская». Но зато... его ввели в комиссию, утверждающую докторские диссертации!

Да что теперь для Гумилева был какой-то ВАК? Его учение, вспыхнувшее как раз в эпоху перемен, когда все и во всем жаждали перемен, захватило умы. Его диссертацию, переписанную им, как трактат, было разрешено «депонировать» (то есть размножить в небольшом количестве) для научных учреждений.

Но произошел «пассионарный толчок». Трактат его было размножен огромным тиражом, точная численность которого до сих пор не установлена. Когда Гумилев стал брюзжать, что копии расплывчатые, его жена, художник-график Наталья Симоновская (свое семейное счастье он обрел в 1968 году), умелым перышком подправила текст, и он стал идеально разборчив. Рабочие типографии выносили копии под ватником, и тут же у проходной их спрашивали: «Гумилев есть?»

Он — победно! — прошел эпоху репрессий, войну, и именно он был одним из тех, кто открыл великую «эру самиздата» — а только «самиздат» тогда и читали. И Гумилев, с тяжелым его томом, стал «весомой фигурой» на том рынке. Многие его поклонники до сих пор хранят его трактат, как святыню — там истинный путь человечества!

Гумилев, несомненно, был героической фигурой. Когда он увлекся «пассионарной вспышкой» хазарского каганата, и объяснял эту вспышку изменением орошения земель, связанным с периодическим колебанием уровня Каспийского моря — он, будучи уже в солидном возрасте, вместе с молодым Гелием Прохоровым спускался в акваланге на дно моря в поисках нужных черепков — и нашел их. И однажды во время шторма чуть не погиб — его ударило по голове бортом чужого катера, — но выплыл.

Они с женой долго жили в коммуналке, но главное — душа в душу. Оба, например, были абсолютно уверены, что в их отсутствие в комнате проводятся шмоны, и, посмеиваясь, оставляли записки: «Начальник! После шмона клади книги на место и не кради их — а то я накапаю твоему начальству!» И какая разница, были те шмоны или нет, главное — то, что жена полностью разделяла убеждения мужа. Женщины всегда поддерживали его.

В 1986 году в журнале «Огонек» и «Литературной газете» к столетию расстрелянного и забытого Николая Гумилева напечатали его стихи — и слава поэта вернулась. И все взгляды, конечно, обратились и к его тоже пострадавшему сыну. Тут, надо сказать, Гумилев не стал открещиваться, и эффектно вышел на авансцену. И даже на заседании Академии Наук, по-

священном, кстати, его научному сопернику Лихачеву, столь же знаменитому, Лев по просьбе зала замечательно прочел стихи своего отца, и имел огромный успех.

В 1987 году Гумилев написал письмо в ЦК КПСС — о том, что его, сына репрессированного великого поэта, несправедливо притесняют — и получил оттуда письмо поддержки, за подписью уже почти забытого теперь государственного деятеля Лукьянова — кстати, тоже пишущего стихи, под псевдонимом Осенев.

И неукротимый Лев вырвался из клетки — и был встречен овациями! И слава, вполне сравнимая со славой его родителей, уже не покидала его. В 1990 году он прочел цикл из двенадцати лекций по телевидению, и люди не отходили от экранов, а некоторые даже записывали (я видел эти записи).

Теперь я понимаю его возмущение «нелепым» вопросом при его выступлении в Доме Писателей в 1991 году: зачем же приходят на его лекции невежды, не способные оценить серьезную науку и нуждающиеся в «развлекательных» историях о его родителях? Тем более, славой он уже не уступал им, а даже — превосходил.

И теперь, в 2018 году, набери в поисковой строке — «Гумилев», и сразу выскочит — «Лев», а потом уже его родители.

У него были замечательные друзья, которых ему вполне хватало, например, академик — филолог Александр Панченко, такой же бунтарь, считавший, например, вопреки всем эпоху Петра I крайне вредной для Руси. Лев Николаевич, не согласный почти ни с кем, с Александром Михайловичем в этом вопросе был «полностью конгруэнтен», и, в пику Западу, никогда не закусывал картошкой, навязанной нам Америкой — а исключительно природной русской репой.

Умер он в 1992 году, в восьмидесятилетнем возрасте, и лежит в Александро-Невской Лавре, а отнюдь не в ногах Ахматовой в Комарово.

Его музей на Коломенской улице, где он получил, наконец, отдельную квартиру незадолго до смерти, весьма популярен. Всем наплевать уже, признавали в ученых кругах его идеи или нет. Всех, в основном, восхищают не идеи, а личности.



Елена Воскобоева

Евгений Шварц и «Серapiионовы братья»

**Елена Воскобоева.** Кандидат филологических наук, специалист по русской литературе XX века, шварцевед. Окончила аспирантуру РГПУ им. А. И. Герцена. Автор-составитель семи книг по литературоведению и педагогике. Постоянный участник научных международных форумов, конференций, семинаров. Более сорока публикаций в различных педагогических и литературно-художественных изданиях («Кормановские чтения», «Альманах "XX век"», «Литературная газета», «Нева» и др.). Член Профессионально-педагогического объединения учителей Санкт-Петербурга «Поликультурная школа Санкт-Петербурга». Живет в Санкт-Петербурге.

### Объединение «серапионов»

Евгений Львович Шварц не являлся членом литературных групп и объединений, но общение с представителями некоторых из них особым образом отразилось на характере его творчества и, в частности, поэзии.

В 1922 году Шварц познакомился с «серапионами» — объединением молодых литераторов, возникшим в Петрограде 1 февраля 1921 года: «Когда в 1922 году наш театр закрылся, я после ряда приключений попал секретарем к Корнею Ивановичу Чуковскому»<sup>1</sup>. В Доме искусств, в котором в начале 1920-х начала работать литературная студия<sup>2</sup>, Шварц познакомился с людьми искусства.

Как человек актерского дарования, Шварц легко вписался в дружескую атмосферу Дома искусств на Мойке, 59. Так, среди множества развлечений обитателей ДИСКА было и придуманное Львом Лунцем «Живое кино» (пародии на западные кинобоевики, разыгрываемые перед публикой). Современники Шварца позже вспоминали, что Евгений Львович был

<sup>1</sup> Е. Шварц. Белый волк // Вопросы литературы. 1989. № 1. С. 188.

<sup>2</sup> «Дом искусств» ставил задачей организацию вечеров, концертов, выставок, издание книг (в 1921 редколлекцией Дома в следующем составе: М. Горький, А. Блок, К. Чуковский, — было выпущено два сборника «Дом искусств»).